

Александр
КАБАКОВ



День Рождения
женщины средних лет

Александр Абрамович Кабаков

День рождения женщины средних лет (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=434535

Александр Кабаков. День рождения женщины средних лет: АСТ; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-066284-5, 978-5-271-27393-3

Аннотация

Прозаик Александр Кабаков – тонкий психолог, он удивительно точно подмечает все оттенки переживаний влюбленных – и мужчин, и женщин. А сами чувства его героев – и легкомысленные, и жертвенные, и взаимные на одну ночь, и безответные к собственной жене. Короткие встречи и долгие проводы, а разлука нестерпима... Ведь настоящая любовь всегда незаконна, почти преступна...

Содержание

День рождения женщины средних лет

Люби меня, как я тебя

Далеко эта Орша

Rue Dagli принимает всех

Масло, запятая, холст

Утром – около нуля, небольшой снег

Убежище

Содержание

День рождения женщины средних лет	4
Люби меня, как я тебя	13
Далеко эта Орша	17
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Александр Кабаков

День рождения женщины средних лет (Сборник)

День рождения женщины средних лет

Я привыкла отмечать именно этот день очень широко – это был наш единственный семейный праздник, главнее, чем Новый год, чем все государственные выходные, чем годовщина свадьбы и даже чем день рождения дочери. Я уж не говорю о дне рождения Жени, который он и вспоминать не любит, только раз собрал своих стариков, и двоюродных, и крестных, сидели долго, его дядька разговорился с моим отцом, он еще был жив, они долго вспоминали что-то о войне, где-то они там были поблизости, оба выпили по лишней рюмке, и старухи их едва растащили. Было это совсем недавно, года четыре назад. Все так изменилось. Боже, как все изменилось. Накануне в театре кое-кто подходил поздравлять, и даже с подарками, но я категорически отказывалась, мол, нельзя раньше, плохая примета, обещала поставить выпивку на следующий день после спектакля, тогда и отметим.

Странно, мне кажется, что у меня нет настоящих врагов. Вероятно, кого-то я раздражаю, кто-то завидует приглашениям сниматься, хотя чего теперь стоят эти приглашения. А уж в театре моим делам и вовсе завидовать нечего, одно название, что звезда, а ведь уже два года толком не работаю. Кто-то из девок завидует и романам моим, хотя, опять же, видят, как именно из-за этих самых любовей день ото дня старею, морщины проступают, под глазами чернота и поддаю все круче, будь он проклят, этот джин с тоником, не было его в прежние времена, или был, но денег на него не было, и всё шло нормально, в пределах обычных пьянок после премьер, ужинов в ВТО, чёсов по Тюменской области, когда благодарные зрители советского кино несли и несли водку, молдавский коньяк, шампанское отечественного изготовления, а я оставляла недопитый стакан, а уж если напивалась, то раз в месяц, как все наши театральные страдалницы, но этот чертов джин на каждом углу подкосил бедную девочку.

В общем, я отговорила от всех и села к телефону в директорском кабинете, слава богу, по стажу и положению доступ туда у меня беспрепятственный. Я села, накрутила номер и стала ждать ответа, слушала длинные истошные гудки и одновременно, косо склонившись с кресла, поправляла почему-то съехавшие и перекрутившиеся колготки – а не надо было льститься на дешевку на Кипре, вот и оказались не по размеру. Наконец он ответил. Привет, сказала я, милый, это я, поздравляй меня скорей. Так ведь рано, сказал он тупо, нельзя же заранее? Нельзя, согласилась я, но я очень хотела тебе позвонить, а другого повода нет. А, сказал он еще более тупо, это приятно, ну, какие у тебя новости?

По-настоящему мы познакомились дня за четыре до этого, хотя и раньше встречались довольно часто: он работал еще в старом Управлении культуры и постоянно заходил на репетиции и читки, сидел на спектаклях всегда в третьем ряду с левого края, потом шел за кулисы, здоровался, пожимая руки, как бы смущался, смотрел мимо и все время острил... Вдруг пришел ни с того ни с сего в выходной день, хотя все были в театре на собрании акционеров. В свитерочке, в куртке – совсем другой. Пришел, дождался перерыва, к которому мы все уже окончательно очумели, а у меня еще и голова разболелась, отыскал, повел в буфет, взял кофе, уговорил выпить по рюмке коньяку, вдруг положил руку на плечо, заглянул в глаза – словом, вел себя абсолютно канонически, ухаживал.

И исчез. Я даже потеряла на несколько минут лицо, побежала к нашему выходу, стала описывать Мирре Самойловне его свитер – не выходил ли? Да ушел Игорь Михайлович,

спокойно сказала Мирра, зачем вы мне его одежду описываете, разве я его не запомнила за семь лет, ушел уже минут десять назад.

На следующий день встретил после спектакля – стоял у края тротуара напротив выхода с чайной розой на гигантском стебле, не обращая внимания на оглядывающихся актеров, шагнул навстречу. Пошли пешком, долго стояли на мосту, поцеловались.

Почему-то потянуло к вам зайти, сказал он, я тут женился недавно, и захотелось с вами поговорить.

У меня зазвенело в ушах. Броситься на него, бить, кусать лицо, царапаться, визжать, упасть на землю, дергаться в судорогах...

Потом, в этот, уже накануне дня рождения, вечер, когда я позвонила ему и назвала милым, и мы поехали в мастерскую нашего Бори, у которого, святой души, я без всякого стеснения попросила ключ, и там я вытащила из пыльного, хорошо, увы, знакомого ларя простыню и подушку и с ужасом поняла, что это те же самые простыня и наволочка, они остались с последнего нашего приезда с Витей, разве станет Боря менять белье так часто, и залилась сначала краской, но он ничего не заметил, а потом испытала страшное, неопишное удовольствие именно от этого – от простыни, на которой и Витенька мой проклятый дергался, и перед этим еще один, и Юра на следующий день – от жуткого этого сладостного вранья, мерзости, распада, от того, что иду вразнос, что гаже быть невозможно, что на одной и той же простыне.

Он был очень хорош собой, этот Игорь, немного уже отяжелевший, но еще крепкий, видно, что в молодости спортивный мужик, с сильно волосатой грудью, заросшей крестом, с жирноватыми наплывами по бокам поверх тугих трусов, но и это не портило его, а он хрипел, и наваливался, и рвал кверху мои ноги, так что под коленками натягивалось и ломило, и доставал до конца до самого, и сползал, присасывался, внедрялся языком, пальцами, снова восходил надо мной и опрокидывался на спину, а я сидела, закинувшись, сзади ужасно дуло от неплотно закрытого окна, вдруг я оказывалась лицом в подушке, поясница прогибалась глубоко, и я представляла, как сбоку выгляжу, и, наконец, просто лежали рядом, я классически положила голову ему на плечо, он курил – в общем, как в паршивом фильме.

Тут-то он и стал рассказывать о жене. Понимаешь, так получилось, мы много лет жили с нею, но замуж она идти не хотела ни за что, все посмеивалась над моей работой, не нравилась ей та моя деятельность, да кому она нравилась. А тут говорит: ну, женой простого нового русского я могу стать. Ты же не знаешь, наверное, я теперь рекламой занимаюсь, агентство маленькое с ребятами сделали, ребята тоже из нашего управления... Что я мог ей сказать? И вдруг понял, что давно уже не ее хочу, а тебя, понимаешь?

Я заплакала. Мы, конечно, еще и выпили до того, да и перетрахались, нервы напряжены, ну и началась у меня истерика. Он растерялся, идиот, как будто можно, лежа на бабе, ей спокойно сообщать, что вчера женился, а она только улыбаться будет. И ведь абсолютно он мне не нужен, ну просто красивый мужик и в постели хорош, но совершенно чужой, а все равно обидно, никак не могу остановиться, реву уже в голос, причитаю что-то вроде «как ты мог, как ты мог» или еще какую-то такую же пошлятину, он, чтобы успокоить, мне еще рюмочку, еще, а я только сильнее, опухла уже. Но при этом сама замечаю, что руки мои делают свое дело, и он уже, хотя и устал, снова почти готов, а я не отстаю и про себя думаю, какая же я мерзость, слезы текут, икаю уже, а все терзаю его, и он наконец завелся, зарычал, вцепился зубами в сосок – и лежу я вся мокрая и сверху, и снизу, и липкая, и кожу уже стягивает на животе от выплеснувшейся его любви, откуда в нем столько накопилось-то при молодой жене и почти целой ночи со мной... А жена его, оказывается, вечером в Нижний улетела – тоже какая-то не то актерка, не то певица, нашего блядского занятия девушка.

Утром, по серому отвратительному рассвету, на котором каждая морщина видна, каждый прыщик сияет, вышли мы с ним из Бориной мастерской и попрощались. Такой вот пода-

рок я себе сделала к сорокалетию: убедилась, что все чувства на месте, и наоралась, и наплакалась, как молодая.

И пошлепала я одна домой не спеша, благо недалеко. До Женькиного питерского поезда еще оставался час, да пока он с вокзала доберется – вполне можно пройтись по свежему воздуху. Шла я по моей любимой Поварской, мимо старого Дома кино, перешла Садовую, по переулкам. И удивлялась, что после такой ночи усталой себя не чувствую и не болит ничего, даже голова, а ведь не спали ни минуты. Значит, еще могу. Только легкость какая-то излишняя, и в ушах немного звенит, даже приятно. Навстречу люди идут, кто на службу спешит, кто по магазинам, а я иду себе свободная, одета неплохо, немного бледная, конечно, но кто ж утром не бледный? Да еще дополнительно приятно, что нет-нет, а кто-нибудь и оглянется, то ли просто мужики на красивую бабу, то ли актрису любимую узнают. Нет, мать, говорю я себе, всё не так уж плохо, в конце концов, что тебе нужно, в театре еще всё наладится, всё в моих руках, как только захочу начать работать, получу что угодно, в кино пока не забыли, народ узнаёт, мужики вокруг не переводятся, на жизнь в основном хватает, со здоровьем тоже терпимо, в последнее время даже цикл наладился, не залетаю давно, тьфу-тьфу – можно жить, подруга, можно.

Тут я подхожу к своему дому и вижу, что у подъезда вылезает из такси мой Евгений Семеныч, здравствуйте. А у меня в руках ни сумки, чтобы, допустим, из магазина возвращаться после неудачной экспедиции за кефиром, ничего. И морда недвусмысленно довольная, так что только слепой не увидит, как любимая жена провела ночь накануне своего драгоценного дня рождения, на который обожающий муж специально приехал, бросив свою недоделанную еще выставку в Северной столице, добыв билет на ранний поезд. Черт. Что же делать-то, думаю я, и с радостным визгом бросаюсь к нему, обнимаю, даже сумку пытаюсь перехватить, заботливая такая, и нечто до того несуразное несу, что у самой уши вянут: а я, Женечка, по ларькам прошлась, посмотрела, что к вечеру из выпивки взять, в театре нашим поставить, а сумку даже не брала, я ж все равно столько не допру, сейчас позавтракаем, умоешься и сходим вместе, ладно? Ладно, говорит несчастный мой Женечка, целует, конечно, но – может, от совести моей нечистой мне кажется – смотрит в сторону, смущается. Но это уже не страшно, думаю я, главное, врать быстро и сразу, и стоять на своем, и дойти до квартиры, до постели главным образом, а там он свою недоверчивость забудет.

Так, конечно, и вышло. Он стал распаковывать сумку, а я пока проскочила в спальню и прямо чуть не завопила от радости: это ж надо такое счастье, что я вчера утром постель так и не прибрала, так что получается, как будто я с нее только что встала, спеша по важным хозяйственным делам, а что морда зеленая и под глазами мешки, так это от грустного одиночества без мужа, который уже неделю сидит в Питере со своей дурацкой выставкой, всё выгружает да расставляет своих идолов, а томящуюся жену бросил в полном одиночестве, притом что и дочка, увы, уже второй месяц совершенствует язык в лондонской школе, вот беда.

Женя тем временем приходит в спальню, глядит, естественно, с интересом на кровать и протягивает мне подарок. Как и следовало ожидать, из антиквариата, в этом-то он понимает, потому всегда и дарит цацки, а не тряпки или духи. А любимые мои «Мажи нуар» я себе сама, считается, покупаю с халтурки какой-нибудь. Кольцо на этот раз он где-то добыл потрясающее, сразу видно, что старой работы, но в отличном состоянии, огромная бирюза и такая простая оправа – закачаешься.

Ну и полезли мы, понятное дело, сразу в койку, какой там завтрак, какое умывание, он только успел одежду содрать.

Вот тут я уже серьезно чуть не попалась. Настолько я от него как-то отвыкла за последнее время, настолько отделилась, что совершенно забыла старомодность его шестидесятичужескую, пуританство, и только он ко мне повалился, как я автоматическим движением ныр-

нула вниз, прильнула, обхватила, втянула, языком обвела – и вспомнила. Боже мой, он же меня сейчас убьет, шлюху! А что теперь делать? Не бросать же, не извиняться же – ой, про-сти, я всё перепутала, это стандартное начало не для тебя... Но и на этот раз вроде повезло, он даже как-то умилился, и я поняла: считает, что баба дала себе волю, сильно соскучив-шись. Ну и понемногу, потихоньку исправилась, улеглась смирно, ножки вытянула, глазки закрыла – а он, как всегда, от послушной этой позы, от девичества, неопытности как бы, озве-рел, заскрипел зубами так, что того гляди посыплется дорогая металлокерамика, но звука не издал, не крикнул, считая это мужчины недостойным, только забило его, будто током, да в очередной раз затрещала выламываемая его все еще мощными руками каменотеса спинка кровати.

Лучше б орал, чем вот так сдерживаться. После инфаркта всё же.

И что удивительно: лежу я себе тихонько, зажмурившись, думаю, конечно, о нехоро-шем – ну что, если сейчас ему сказать, как я ночь провела, да дополнить тем, как другие проводила здесь же, на многострадальном этом румынском ложе, когда не было в Москве доброго Бори с ключиком и когда не боялась неожиданного возвращения дорогого мужа, да вспомнить еще кое-что из дневных часов, кресла, столы, затоптанные ковры с брошен-ными на них плащами, шубами, пиджаками, да сравнить с его бесхитростностью хотя бы Витенькин беспредел или, к примеру, как мы Игоря Михайловича женитьбу отметили – что бы, интересно, было? И думаю, конечно же, что удивительно грязная я всё же шлюха и что рано или поздно вылезет всё или хотя бы кое-что, и тогда только с моста, с любимого моего старого метромоста, если туда еще можно забраться, в ноябрьскую воду, уже берушуюся поверх черноты матовым стеклышком льда, плохо только, что потом всплывешь безобраз-ная, вздутая и полуразвалившаяся. Между тем, размышляя о таких приятных вещах, я чув-ствую, что дело-то идет своим чередом: намокаю, намокаю, теку, растекаюсь, совсем вся вытекаю, и вот... вместе... вместе... вместе.

Другие из кожи вон лезут, а вместе – только с ним, с моим старичком торопливым и неумелым. С любимым, что ли?

Господи, думаю я, ну что же это за жизнь такая, почему все начинается с простого и легкого счастья, с легко заливаемой жажды, но не успеешь оглянуться, как ты уже увязла и он увяз, отношения, бессмысленная и неутолимая тяга, и чем чаще встречи, тем все глубже проникаем друг в друга, и еще чаще необходимость, как наркотик, как выпивка, и еще тяже-лее, а назад уже не повернешь, правильно сказал Витюша мой, глядя однажды задумчиво на вечный центр его притяжения ко мне: вот в школе у нас были такие чернильницы-непро-ливайки, один раз нальешь туда чернил и уж не выльешь, сколько ни переворачивай, вот и отсюда мне уже не вырваться. Я вспомнила эти белые фарфоровые чернильницы с голу-быми цветочками по бокам, которые таскала в школу старшая моя сестра, и засмеялась: а я, знаешь, одну такую чернильницу просто разбила, раскокала, всё и вылилось со стола, пред-ставляешь, на Иркин парадный белый фартук, атласный.

Бред.

Теперь мы идем с Женей за припасами к вечеру, потому что в театре наверняка уже собрались отмечать, тем более что дата у меня круглая, значит, набьются все и уже подарки приготовлены или даже большой общий подарок, а может, вспомнят традицию, устроят капустник, поэтому хорошо, что я сегодня не занята на сцене, можно будет прийти к концу антракта и все накрыть в нашем буфете, а со своей выпивкой получится не так и дорого. Женя, спрашиваю я, как ты думаешь, кроме водки надо что-нибудь брать? Воды возьмешь в буфете, говорит рассудительный Женя, и все, а водки надо взять пару литровых «Смирнов-ской» для начала, а дальше и наш «Кристалл» пойдет, и так все нажрут. День разошелся, холодно, но удивительно для осени московской сухо, и настроение могло бы прекрасное быть, как утром, когда возвращалась домой, но почему-то до того погано на душе, что сил

нет, а Женя загружает из окошка ларька бутылки в сумку на колесах, предусмотрительно им прихваченную, я смотрю на него и совсем уже не люблю этого сильно немолодого, довольно нескладного, хотя вполне прилично одетого и рослого мужика, но что-то в нем не так, вот и воротник плаща завернулся, ну почему ты никогда в зеркало не посмотришь, прежде чем на улицу выйти?

Странно. Мы с ним живем восемнадцать лет, родили и вырастили дочь, дважды доходило до согласованного развода, не считая более мелких неприятностей, а всё же живем, и доживем, видно, до смерти чьей-нибудь – долго, счастливо и в один день, как же! – и всегда измены мои, так мне, по крайней мере, казалось, были чисто постельными, так уж я, тварь, устроена, а дружба, мне казалось, наша не страдала, а вот в последнее-то время все оказалось наоборот... Прикипаю то к одному, то к другому, кажется, не отдерешь, жить не могу и в койке бешусь, но возвращаюсь к нему и за минуту кончаю без всяких хитростей, а одеваю – и чужие люди, говорить не о чем, раздражает его нелепость, простоватость, некрасота, отсутствие позы, лоска, светскости, скуповатость. Хотя с деньгами сейчас, конечно, так себе, и еще этот Танькин Лондон... Да, всё, идем домой, ни о чем я не думаю, отстань.

Такое зло, такое бешенство на меня напало, просто ужас. Металась по дому, собирала сумки на вечер, швыряла все, что под руку попадало, куда придется, и при этом, если уж честно, была довольна собой, потому что собиралась толково, швыряла так, что всё ложилось точно на место, двигалась ловко. Жива актриса, жива притворщица и кривляка, жива. Волосенки подкрасила, будь они неладны, за неделю сантиметра два седины вылезло. Пока сохнут, масочку на рожу. Взяла миску с кипятком, пилки, пошла в спальню – люблю сесть в кровати, ноги под одеяло сунуть, а руки в порядок приводить не спеша.

Но как увидела эту проклятую постель, затылком моим продавленную подушку, одеяло, почти сброшенное на пол его ногами, одежду навалом, вперемешку носки его с моими лифчиком и трусами, а тут и сам Женечка является в халате и предлагает, мой заботливый, кофейку сварить, пока я красоту завершаю, – ну, зашла я от проклятой своей злобы. Нет, спасибо, я кофе сейчас не хочу. Нет, спасибо. Я сама потом сварю, спасибо. Подлейшим своим тоном, с как бы скрываемым, а на самом деле демонстрируемым раздражением, почти ненавистью. Женька мой несчастный так и вылетел из комнаты, кофемолкой на кухне загрохотал и одновременно телевизор там включил – обиделся.

А я тем временем набрала номер, послушала раздраженное «Говорите! Да говорите же!» и до того, как он должен был рывкнуть «Ну, перезвоните, вас не слышно!» и бросить трубку, быстро сказала: «Подъезжай к нашему углу ровно через час» – и бросила трубку сама. Конечно, был риск, но раз он повторял «говорите, говорите», значит, ситуацию контролировал и видел, что жена параллельно не слушает. А у меня на кухне всё телевизор орет.

Тут длинный звонок – Танька из Лондона, помнит. Мамочка, хэппи бёздэй ту ю, я тебя люблю, скучаю ужасно, ты не представляешь, какие они зануды, ребята только о футболе и мотоциклах, а девчонки вообще амебы, особенно в воскресенье тоска, в последнее ездили в Брайтон, оттуда даже, говорят, Францию видно, целую, мамочка, с днем рождения...

Боже, Танюра.

Будет как я.

Ужас.

«Проводить тебя?» – Женя вышел в прихожую уже окончательно разобиженный, и жалко мне его стало ужасно, специально человек ехал любимую жену поздравить, а жена, шалава, нахамила да и отвалила. Но жалеть уже было некогда. «За мной из театра машина придет, шофер донести поможет, – ответила я самым ледяным тоном, чтобы даже и не подумал до угла тащиться, но все же в щечку чмокнула, как сто лет заведено, и добавила чуть мягче: – А я отвезу сумки и через пару часов вернусь, будем собираться». Он только вздохнул чуть заметно.

В лесочке каком-то дохлом, уже просвечивающем насквозь, остановились мы.

Слава богу, дождь пошел, никто в такую погоду с трассы съезжать не будет, в машину заглядывать. Но все равно в маленьком его БМВ особенно не развернешься, свитер стянуть – и то проблема, руки не подымешь.

И что же нам, несчастным, осталось?

Пальцы наши, бесстыжие наши пальцы.

Жилистая его лапа с обгрызенными до мяса ногтями, жадная, хватающая, винтом закручивающая, протискивающаяся, рвущая.

И быстрая моя, алчно скрючивающаяся, как птичья, глядящая, сжимающая, скользкая, только что наманикюренная, да где уж тот маникюр.

Рты еще нам остались, непрестанно бормочущие такое, что и думать нельзя, и успевающие втягивать, всасывать, вдыхать, делиться слюной и опять говорить.

Девочка, девочка любимая, сучка, сучка, проклятая сучка, ты Женю сегодня тем же встретила, тем же, да, а кому еще ты делала так и так, так, делай так, кому еще, говори, девочка, солнышко мое, маленькая моя, о, не могу больше.

Витя, Витечка, родной, не могу, я тебе здесь залью все, уже залила, милый, хочешь убить, ну убей, ударь, ударь же, пожалуйста, проклятый, ненавижу, ненавижу, мальчик, маленький мой, не плачь же.

Через полтора часа он высадил меня у театра, занес сумки, поздоровался с Миррой, заметно выделявшей его из всех и при этом явно недолюбливавшей, мне кивнул – да и рванул, сразу выбираясь в левый ряд, на поворот – к себе, в студию свою знаменитую, брехать на всю страну. «Здравствуйте! С вами следующие два часа буду я, ваш Виктор... Оставайтесь с нами...»

А предыдущие, предыдущие два часа с кем вы были, сладкоголосый, но, увы, уже плешивый Виктор? И с кем вы были предыдущие два года, и пять, и десять лет, с кем, где носил вас черт, любимый всеми десятиклассниками и еще одной полоумной бабой, обожаемый комментатор, диск-жокей, ведущий, властитель ушей и дум, чтоб ты сдох, где же ты был, когда я выходила замуж, и трахалась по всем углам, и уж было собралась уйти от мужа к одному, как позже выяснилось, гаду, но не ушла, Женя сидел в кресле, закрыв глаза, и молча плакал, слезы текли из-под век по щетине, по дряблой коже, он плакал, и я осталась, а уж ведь было ушла, но ты-то где был, на кой черт ты где-то шатался, спал с какими-то чужими бабами, женился на какой-то идиотине, на прислуге, на быдле, пацана дебильного, дауна с ней родил, на всю жизнь теперь крест твой, зачем, любимый, ведь все же ясно, никого ни роднее, ни ближе, мы же одно, один человек, почему ж мы живем врозь, сами терзаемся, других терзаем, почему не с тобой я каждую ночь, а с кем попало, почему на кого попало выплескивается моя немереная любовь, а не на тебя одного, кому она положена Богом, почему, любимый, почему, почему, почему?

Я полезла в карман и вытащила бумажку, которую он мне сунул еще в машине – вместе с очередным флаконом «Мажи», на большее у него фантазии не хватало, да и деньги, я давно уже заметила, слишком большие он на меня тратить не любил.

Там были стихи. Иногда он писал мне стихи и дарил эти бумажки, а я прятала их в конверт, а конверт этот с некоторыми фотографиями и этими самыми бумажками держала в старой сумке на антресолях.

Господи, хоть бы мне помереть, что ли!

Эти стихи начинались так: «Вот и минуло лето. И Яблочный Спас посулил, что нам все отольется...»

Я как заревела, так и в метро домой ехала ревмя ревя, уткнулась в угол, только сопли ловила да слезы из-под темных очков утирала.

«...Что ж, подходит к концу наш последний сезон, моя рыжая осень...»

Я плакала и заметила, что кое-кто узнал плачущую актрису.

И это, в общем, неплохо, потому что новая сплетня о личной трагедии не помешает.

Плохо то, что я его действительно очень сильно люблю.

Я-то знаю, что люблю. Это он может сомневаться, к Женьке ревновать, это трахальщики мои могут усмехаться, принимая на свой счет нежное мое бормотание, это подруги могут судить, какая, мол, любовь у этой шлюхи, не дает, только если не просят, а то и сама предложит.

Это пусть другие сомневаются, а я знаю точно.

И когда все уже были в сиську, когда Васенька наш уже появился в моем платье из «Сестер», да так прошелся с кружевным зонтиком, в шляпе, так задницей вильнул, что все полегли, да еще монолог мой прочел немного переделанный, но так похоже и по голосу, и по характеру, что и Женька многотерпеливый поморщился, когда уже добирали из последних бутылок, а кто поденежней на буфетный коньяк перешли, когда дым повис такой, что глаза заслезились, когда кое за кем из актеров уже мужья и хахали приехали, одних увели, другие засобирались – так мне опять паскудно стало! Хотя вечер-то получился симпатичный, вроде все меня любят, а что мне еще надо. Но почему я сижу здесь? Почему сейчас поеду отсюда вон с тем, седым, бородатым, нахмурившимся, кто он мне? Супруг он мне, Евгений Семенович Панин, скульптор средней руки, а человек золотой, дай ему бог здоровья, доброй душе, терпит блядовитую актриску, а я его видеть не могу, не могу, ну что мне делать? Почему же не бросаю я всё, не выскакиваю из этого вонючего, не постороннего мне, конечно, но ведь до смерти же надоевшего храма искусства, чтоб он сгорел, не хватаю первую попавшуюся машину, не называю адрес, который уж и после смерти не забуду, не лечу туда, не забираю этого старого, да всё хорохорящегося дурака, козла плешивого, не падаю в ноги ему, не клянусь быть верной и покорной женой, рабыней вечной, не уезжаем мы с ним, почему-у?!

А потому, отвечаю я себе, наливая тем временем еще немного водочки с самого дна последней бутылки, что где же мне еще сидеть, как не в этом доме, если настоящий свой опоганила? Да и этот, впрочем, тоже. И с кем же мне отсюда уехать, как не с несчастным моим? Кому еще нужна надолго-то? И зачем мне мчаться по трижды проклятому адресу, если там жена – ответственный квартиросъемщик, сын нездоровый, да и сам трусоват, хоть и сердцеед, покоритель и супермен, гонщик и рискач, и не нужна ему покорная жена, а верная тем более не нужна, ему бы в машине, в подъезде, на полу, на чужой кровати, пока муж за хлебом, пока жена в бассейн, с рассказами, с подробностями, с наматыванием кишок на руку, на локоть, как веревку бельевую моя бабка мотала!

Тут подруга Оля тихонько подгребла, как дела, а сам-то поздравил, ну, и что, успели, а он что, а ты, не расстраивайся, мать, разлюбишь, значит, живая, тебе любая позавидует, в сороковник так выглядеть и переживать, а может, еще устроится всё, а?

Не могу больше.

Я вылезла из-за стола, заметив, что меня весьма ощутимо мотнуло – перебрала-таки и сегодня, хоть без джина обошлось, но я свое и водкой взяла. Надо бы завязать, пока не истончали икры, пока морда не оползла, пока не описываюсь пьяная – ох, повидала я в таком виде подруг. Надо завязывать, да разве с этими козлами завяжешь.

Выбравшись из буфета, побрела по пустому коридору к сортиру.

Брела-брела да как-то добрела до открытой, как всегда, двери. Знакомая дверь.

Заходи, сказал он.

А я думала, вы ушли, Матвей Григорьевич, сказала я.

Я тебя здесь ждал, сказал он.

А я в туалет, Матвей Григорьевич, сказала я, проходя мимо главрежеского кабинета.

На самом краю стола...

Майку, кажется, его подложив, чтоб сукно не испортить.

Сукно спину трет, лампа настольная в глаза светит...

Все равно...

Немного все же на сукно попадало...

Он здорово это умел – отпереть потом дверь без щелчка...

«Ты знаешь, я сейчас тебя провожу, – сказал Женя, отводя глаза, как утром, – и на вокзал. Вернусь в Питер сегодня. Там еще не готово ничего, дел много». «Так спешишь, – искренне огорчилась я. – А билет?» Он молча махнул рукой: мол, не проблема.

Я сидела на постели, на так и не застеленной моей постели. Женька все не уходил, все тянул чего-то. Опоздаешь, сказала я, только проедешь зря. Он промолчал, поставил сумку у двери, заглянул в спальню. Ну, я поехал, сказал он. Счастливо, милый, сказала я, проводила его к дверям, поцеловала нежно, приобняла. Он протиснулся в дверь с сумкой, пошел к лифту. Я захлопнула, прислушалась. Лифт загудел. Я вернулась в спальню, набрала номер. Говорите, да говорите же, закричал он в молчащую трубку. Скажи, что у тебя ночной эфир, что заболел кто-нибудь и надо подменить, сказала я, скажи что угодно и приезжай, он уехал. Эфир, ты что, с ума сошла, да она включит приемник, и все накроется, сказал он. А где она сейчас, что ты такой смелый, спросила я. В ванной, сказал он, сейчас выйдет. Что хочешь придумай, сказала я, но приезжай. У тебя, Колька, совсем крыша поехала, сказал он, и я прямо увидела, как она выходит из ванной, голова в полотенце, в ночной рубаше, смотрит на врущего в телефон мужика с отвратительной своей высокомерной усмешкой, которую выработала бедная парикмахерша в ответ на хамство актерское, ты совсем, Колька, двинулся, сказал он, куда ж мы на ночь-то поедem, мы ж в твою клепаную Тулу только к утру доберемcя, вареные будем, какая получится встреча со слушателями, охренел ты совсем, я молчала и наслаждалась, вот что такое для актера радиошколы, до чего ж убедителен перед микрофоном, а сколько платят, спросил он, чего сто – тысяча или зеленых, ну ладно, черт с тобой, бабки приличные, встречаемcя на том углу, где я тебя подобрал, когда мы во Владимир ездили, давай через час, пойду Ленку уговаривать.

Когда мы во Владимир ездили. Когда во Владимире я от него залетела, потом валялась после чистки, а он позвонил пьяный и жаловался на свои неприятности, на Ленку, на настроение, а у меня уже все полотенца в кровище и всё хлещет.

Мимо церкви, в которой уже полгода не была, и зайти страшно. И чем дальше – тем стыднее и страшнее.

Мимо маленького сквера в проходном дворе, где позапрошлой весной похоронил Женька нашего Кинга, единственного моего за всю жизнь друга, из-за которого я ни разу не заплакала. Пока не отнялись у него на четырнадцатом году задние лапы, не лег он, перегорев всю прихожую, не задышал тяжело, раздувая исхудавшие, с проступающими ребрами бока, – тогда-то за всё его доброе отревела.

Мимо квартала, где жили мои до смерти отца. Потом мать съехала с теткой в Измайлове, и бываю я там теперь хорошо если раз в месяц и выдерживаю с моей мамочкой когда час, а когда и полчаса, не больше.

Мимо всей моей прошлой жизни.

Мимо жизни.

На угол, где он почему-то решил встретиться. Как будто не мог сразу ко мне приехать. Боится, что Женька не уехал и вернется.

На угол, где встречаемcя, может, в сотый, а может, в тысячный раз.

На угол, где уже дважды прощались навсегда.

Боже мой, за что же мне это наказание?

Неужто так и будет вечно, так и нестиcь мне мимо жизни на угол, влипать из одной истории в другую, трахаться, как последней бляди, любить, как тринадцатилетней девочке, врать всем и во всем признаваться, играть и играть в одной и той же пьесе всё одну и ту же

роль, да и пьеска-то так себе, не очень, а слезы всё текут и текут, железы актерские тренированные, и по-настоящему вдруг сжимается сердце, потому что не спектакль важен, а на сцену выход.

Что же, что же это тащит меня среди ночи, когда уже, дай бог, ушел последний ленинградский, под мелким непрекращающимся дождем на чертов этот угол, освещенный пакостным бордельным светом ларьков, под мигающий сломанный светофор? Мигает, мигает желтый, пора разлучаться. Пора разлучаться, нам не восемнадцать, нам не двадцать восемь, а всё еще просим... Глупости. Он не писал таких стихов, мне показалось.

Женечка, любимый, единственный мой, моя живая собака, прости.

Надо было любить одного и жить с одним, и это должен был быть один и тот же человек, от которого всё терпеть, и быть верной, и не видеть ни глупости, ни уродства, и любить запах, не уставать и угождать, и не ждать воздаяния, и во веки веков, пока не разлучит нас... Не вышло.

Женечка, я возвращаюсь. Ты только не нервничай, береги сердечко, бедная моя собаченька. Я сейчас вернусь к телефону, позвоню твоим питерским друзьям, и утром, когда бледный и небритый ты придешь с поезда к ним пить кофе, они расскажут тебе, что твоя жена, шалавка твоя бедная, звонила ночью и сказала, что решила любить тебя до смерти.

Я люблю тебя до смерти, Женечка.

Но только до смерти, не дальше. А дальше – извини.

Вот он несется, он обязательно проедет мигающий красный. И тут я и появлюсь на мостовой.

Он не затормозит, не успеет.

Любимый, не тормози. Не тормози резко, любимый, потому что твоя идиотка вышла вдруг проводить и, пока возился ты с аккумулятором, всадила-таки кухонный нож в левое переднее, она ведь не понимает ни черта, она думала так вернуть тебя, и если ты затормозишь резко, тут-то всё и случится, понимаешь.

Не тормози.

Потом всё равно перевернешься.

Вот и встретимся.

Вот всё и устроится.

Боже, как прекрасно это было бы!

Витюшенька, любимый.

Женечка, единственный.

Люби меня, как я тебя

В углу были навалены кучей бронежилеты, он сразу облюбывал это место и пристроился там, как только взлетели. Ложё получилось жестковатое, но все равно удобное для полета. В этом треклятом сарае ничего придумать было нельзя. Он положил автомат рядом на пол, развязал шнурки ботинок, расстегнул новенький бушлат, одолженный вояками, и тут же начал дремать. И, как всегда в последнее время, когда в газетах замелькало название Города, в дремоту немедленно явилось воспоминание, возобновился бесконечный просмотр этого старого фильма, жестокой мелодрамы, оставившей на его жизни шрам, какой бывает от черепных ранений, – глубокий, уродливый... Такая вмятина осталась на лбу одного парня из пятого отдела после Ашхабада – вышел из госпиталя через три месяца и сразу уволился, но все успели его увидеть, рассмотреть глубокую вмятину над правой бровью, уходящую под волосы как бы пробором, и выслушать рассказ о поднимающемся прямо в глаза стволе обреза. Теперешнее воспоминание было не болезненно, а скорее приятно – так же, наверное, как трогать, растирать, почесывать старый шрам...

В семьдесят четвертом его перевели наконец в Город, заметило начальство старательного парня из самой паршивой среди районных прокуратур. Дали комнату в общежитии, набитой ментовской молодежью, донашивающей по вечерам в качестве шлафроков армейские ватники и тельняшки: холод был в двухэтажной развалюхе – части старых торговых рядов – адский; выделили двухметровый кабинетик, ровно половину которого занимал могучий сейф столетнего возраста с бронзовыми вензелями и колонками; зарплата повысилась на тридцатку, почувствовал себя обеспеченным человеком; появились новые знакомые среди областной юридической элиты – адвокаты, прокуроры, начальники райотдела и отделов областного управления милиции; наконец, и просто областное начальство среднего и чуть выше среднего ранга стало замечать и время от времени то на пару дней актива в лесном профилактории прихватывать, то просто на отдых в конце недели – попариться, передохнуть за рюмкой после трудов праведных.

Познакомились с нею как раз на таком двухдневном отдыхе. Приехала с мужем, первым в городе адвокатом, пятидесятилетним седовласым, как положено по профессии, красавцем в роскошном джинсовом костюме – мог себе позволить среди номенклатурных тренировочных, – облежавшем его, как сюртук. Они сидели за соседним столом с прокурором и председателем облпрофсофа, прокурор и познакомил начинающую журналистку городской вечерки и ее прославленного мужа с подающим надежды следователем прокуратуры – глядишь, может, вам, Мариночка, какую-нибудь информацию подбросит сенсационную, жулья много развелось, а вы с Германом Михайловичем посоветуетесь...

Поговорили, разошлись, встретились снова случайно недели через три – на комсомольской конференции. Вечером, как принято, пьянка началась безумная со всеми комсомольскими утехами. Он слонялся из комнаты в комнату пансионата машиностроителей, традиционно предоставленного комсомолу для подобных развлечений, с кем-то выпивал, с кем-то добавлял... В одну из комнат вломился не совсем кстати: увидел посреди помещения знакомую из политотдела управления, из формы на ней был только беретик с кокардой, а вокруг суетились человека три активистов районного уровня – вовсе налегке. Впрочем, никто не смутился. Он побрел на улицу. Стояла первая, уже пыльная неделя апреля, свежееубранные дорожки территории светились под голубыми фонарями, скульптуры и скамейки сияли краской, а вдали темной оторочкой светлого неба угрожающе шумел лес – начинался ночной ветер.

Она сидела на перилах крыльца и курила. «А-а, Шерлок Холмс областного размаха, – приветливо сказала банальность, – ну, приготовили сенсацию? Убийство на почве ревности или ограбление Стройбанка?»

Роман начался бурно, хотя, собственно, какой это был поначалу роман? Так, комсомольское мероприятие, которых в ту же ночь было столько, сколько коек в пансионате... Но их уже через месяц заклинило, ничего легкого не получалось, да и не могло получиться.

Потом, когда всё прошло, он проанализировал ситуацию и понял, что самым главным в их отношениях были трудности. Увидеться в городе, даже перезвониться было невозможно – ее знали почти все, его уже многие, а уж ее мужа – просто весь областной центр: и начальство, и простые обыватели. Вальд как раз в это время вел большое дело, судили горхозторг, в зале горсуда было не протолкнуться... Они изощрялись в поиске самых невероятных мест свиданий и в конспирации и от этого сближались всё более.

С третьей или четвертой встречи тень Германа Михайловича Вальда, председателя областной коллегии адвокатов, автора двух книг и, вероятно, одного из самых богатых людей в городе, начала витать над ними. Лежали в постели подружки, в квартире в самом дальнем из кварталов новостроек, куда добирались, конечно, порознь, и подружка не знала, для чего и для кого нужен ключ, и вроде даже вообще не знала, что он для чего-то нужен, а просто уехала в Москву на экзаменационную сессию. Конечно, не отвечали на телефон. И, задернув от унылого дневного света шторы, трижды предупредив его начальство, что он должен пройтись по предприятиям, с которых всё чаще идут сигналы о хищениях всякой химии – а город жил химией, и отцы области отлично знали, зачем прут препараты с производства, делали здесь всё для химической войны, а в малых дозах народ отраву с удовольствием употреблял вместо дефицитного «Солнцедара», – лежа в чужой постели и едва успев удовлетворить первую жажду, они начинали говорить о ее муже.

Муж взял ее из нищеты, присмотрел еще чуть ли не с пятого класса. Выучил в университете, определил в газету, учил писать заметки, сам прекрасно владея пером. Она его не то чтобы боялась – просто всякое подобие собственной воли теряла не только в его присутствии, но и вспоминая. Он тиранил ее изощренно, не слишком требуя послушания в мелочах, но последовательно уничтожая в ней самолюбие. Научил писать заметки – и называл теперь не иначе как «писька вечерняя»; наряжал, людей знакомил с «моей красавицей» – а вечерами подводил к зеркалу голую, ставил рядом с собой, мощным, высоким, без живота, старым волейболистом, и говорил: «Видишь, все признаки детского рахита налицо...»; парикмахершу для нее вызывал на дом; то из Венгрии с какого-нибудь конгресса, а то и из Западной Германии, в составе прогрессивной общественности, привозил тряпки неисчислимо – и рубля никогда не было в ее кошельке...

Она рассказывала о нем – и возбуждалась необыкновенно, и они спешили, пока стрелка неумолимо ползла к концу рабочего дня и к необходимости ее возвращения в квартиру из четырех комнат на центральном проспекте, с роялем и бронзой, скупленной по всей области. Они спешили и не могли отлепиться друг от друга, потому что она возбуждалась всё более, и он видел, как бешено горят ее глаза, когда она, изгибаясь под ним, переползая всё ниже, умудрялась бормотать, когда, казалось бы, и слова выговорить нельзя: «Вот теперь я писка вечерняя... и вот... и вот, вот, вот...» Она изгибалась, поворачивая к нему лицо, упираясь в чужую подушку локтями, и шипела: «Вот так, вот так, это для него, для него...»

Они всё время были вдвоем, и самое страшное было – что это его устраивало. По утрам в своем кабинете-чулане он старался не вспоминать свидание, но если вспоминал, то неизбежно всплывала и картинная седина, огромная важная фигура, и он уже не мог обходиться без этого.

Однажды в самой середине лета, в июльскую липкую жару они умудрились среди дня смыться за город. Давно ей известное место – маленькая затока, – как она уверяла, было не

известно больше никому в городе. Приехали туда, конечно, врозь – он на электричке, она на автобусе, врозь шли от деревни... Долго лежали на его казенном одеяле, обсыхали от городского противного пота, он поглядывал на нее искоса. Живот выступал чуть-чуть, даже когда она лежала на спине, видимо, это и давало старому подлецу основания называть ее рахитом и ребенком Черной Африки. Грудки слегка распались в стороны, и кожа на сосках сморщилась еще больше обычного от ссыхающегося пота. Солнце пятнами пробивалось сквозь листья дубов, которыми были славны берега этой узкой речонки, ложилось на ее тело, освещая мелкие родинки, волоски, сильно выцветшие по сравнению с темно-русой прической, жилки... «Представляешь, – сказала она вдруг с горькой обидой, – Герман Михайлович говорит, что у меня язык суконный...» «Какой язык, – не понял он, – ты ж говорила, что уже месяца три, после приступа почечного, он с тобой не...» «Да нет, – раздраженно перебила она, – пишу я, значит, скучно, понимаешь?»

И тут на него что-то наехало, пошли круги перед глазами, как бывает, когда стоишь нагнувшись, а потом выпрямишься, и он кинулся к ней, резко рванул кверху ноги, уперся в них плечами, рыкнул коротко и страшно, и сам не успел почувствовать ничего, и она не успела – насилие было мгновенным и жестоким, и она лежала потом, некрасиво раскинувшись, а он отошел в сторону, быстро и брезгливо вытерся носовым платком и оделся, закурил...

Через неделю они всё и придумали. У Вальда был пистолет, из уважения ему подарил конфискованный браунинг сам начальник областного угрозыска, выписал и разрешение. Она должна была этот браунинг выкрасть и передать ему. Как быть дальше – и с отпечатками пальцев, и с прочим – он знал, недаром по криминалистике был в группе лучшим. Ей оставалось только тихонько впустить его поздно ночью в квартиру...

Что к этому времени они оба сошли с ума, подтверждалось как раз тем, что все детали они продумали чрезвычайно тщательно, а основную проблему даже не обсуждали. Убийство представлялось таким же неизбежным, как если бы оно уже произошло.

Когда она открыла дверь точно в назначенное мгновение и он шагнул в темную прихожую, голова его была пуста, и только одна мысль в ней прокручивалась, как валик арифмометра: «Протереть клавиши, протереть клавиши, протереть клавиши, протереть...» Было решено, что после того, как он выстрелит, прикрыв пистолет подушкой, в висок спящему, она напечатает на семейной пишущей машинке предсмертное письмо самоубийцы. Многие в Городе знали, что адвокат ужасно боится рака, обследованиям областных светил, дающим утешительные результаты, не доверяет, а почечный приступ действительно вывел его из равновесия, и она должна была за ужином кроме обычных оскорблений выслушивать еще и его прогнозы относительно распутства, в которое она ударится после его смерти на его же деньги. Однажды сказал: «Болей не переживу...» Записка, таким образом, напрашивалась.

Она открыла дверь, он вошел в темноту – и тут же в ее руках зажегся фонарик, совершенно ослепивший его. И он услышал ее шепот: «Если включить свет, он может проснуться... А ты слушай: ничего не будет, понял? Уходи... уходи отсюда... Ты хотел его убить... ты человека можешь убить... за то, что он тебе мешает... ты меня не любишь, не я тебе нужна, ты его ненавидишь, за то, что богатый, знаменитый, сильный... иди отсюда... иди!» Фонарик в ее руке задержался, осветил залитое слезами лицо на мгновение, он понял, что у нее истерика, и сразу простил ей обиду, чудовищную, страшную, и подался к ней, чтобы успокоить, забыв на эту секунду, зачем шел в чужую квартиру, забыв всё, поглотившее их за последние дни, помня только одно – вот плачет его любимая, ей плохо... Но фонарик в ее руке снова дернулся, скользнул по стенам длинный луч – и он увидел, что в правой руке она держит тот самый браунинг и ствол направлен на него. «Иди... иди отсюда, – сказала она почти в полный голос, и он отступил не от пистолета, а именно от голоса. – Иди, уходи... дрянь, убийца! Иначе я тебя убью – и всё...»

Через два месяца он видел их вдвоем на открытии сезона в музыкальной комедии. Она была в новом платье, темно-синем, с широко отстоящим от шеи воротом, ткань отсвечивала стеклом – такого здесь еще не видавали. Он был в бархатном костюме, в ботинках на подошве невероятной толщины, «на платформе», как прошепестало по толпе. И даже брюки были расклеены – страх смертельной болезни не мешал ему наслаждаться жизненными возможностями. «Без женщин жить нельзя...» – гремело со сцены.

Он вышел в антракте, оделся, побрел по улице, зачем-то сел в электричку. Глухонемой продавал фотографии. Среди календариков с кошками и омерзительно пухлыми детишками он увидел сердечко, раскрашенное анилином, вспомнил детство – тогда продавались точно такие же – и купил. «Люби меня, как я тебя» было написано вокруг сердечка, а в сердечке, он был в этом уверен, целовалась чета Вальдов: красиво причесанный джентльмен и голубоглазая простушка с пышными темно-русыми волосами.

...Прямо из вертолета их пересадили в военный автобус и повезли куда-то по пустой степной дороге. «Сейчас, значит, приедем на место совершения нападения, – бодренько докладывает встречающий, следовательно местной прокуратуры, – там, товарищи, вам уж и карты в руки... Раз уж посылают вас из Москвы, значит, не доверяют нашему брату... Ну, покажите класс...» Вдруг навстречу потянулась колонна: впереди два БТРа, потом какие-то битые автобусы, грузовики, ободранные легковые, такси, позади танк... В автобусах и в грузовиках сидели не по сезону тепло – в дорогу – одетые люди, вздрагивали наваленные горами узлы и чемоданы. «Кто?» – спросил он без особого интереса, беженцев за последние года два навиделся достаточно. «Немцы, которые еще оставались, – всё так же жизнерадостно пояснил абориген. – Народ их сильно невзлюбил, побили кое-кого, в деревнях пожгли... Теперь с военного аэродрома вывозим. Столица всех примет...»

Мимо ехала белая «Волга». За рулем сидела женщина с пышной не по возрасту, грубо крашенной морковной хной прической. Голубые глаза ее глядели прямо, жестко, руки лежали на руле спокойно, голову она держала высоко, вызывая высоко... Рядом на сиденье полулежал толстый, расплывшийся, в растрепанных, редких, желтовато-белых патлах, свисающих на прыгающие щеки, старик. Колонна едва двигалась, и разглядеть пассажиров «Волги» было нетрудно.

Он остановил автобус и побежал назад. Колонна стояла – впереди раздавались крики, треснула короткая автоматная очередь. Он подбежал к «Волге», перехватил автомат в левую руку и распахнул дверцу. Голубые глаза смотрели на него в упор.

– Зря ты тогда меня послушался, – сказала она. – А теперь скоро всему конец... И всем нам...

– Найдешь меня в Москве, – сказал он негромко, едва переведя дух после короткого бега. – Найдешь, слышишь! Меня там нетрудно найти...

Колонна двинулась, и он снова побежал – назад к автобусу, навстречу медленно едущим машинам с детьми, парализованными старухами, стариками, скалящими от жары и пыли стальные зубы... С одного из грузовиков рухнул чемодан, раскрылся, и он едва не упал, запутавшись в рваных простынях и полотенцах.

Далеко эта Орша

Газете «Московские новости» с благодарностью

Основное человеческое занятие – воспоминание. Всё то время, что не поглощены какой-нибудь конкретной умственной работой (написанием заявки на расходные материалы, слушанием анекдота, семейным выяснением отношений или чтением телепрограммы), мы вспоминаем. Молодость, прошлое лето, этот самый день в девяносто первом году, то, как двадцать лет назад посмотрела одна знакомая, уже давно живущая на Лонг-Айленде, странный цвет неба сегодня на рассвете и важное дело, которое не записал в ежедневник... Физический же труд – поездка в метро, борьба с севшим аккумулятором и встреча с продуктом «Довгань» – вообще от воспоминаний не отвлекает, а иногда даже способствует сосредоточению. И вот ты уже уезжаешь, уезжаешь туда, где жизнь прекрасна и логична, потому что известно, чем она кончилась, – в прошлое, которое кончилось текущим мгновением и, следовательно, кончилось неплохо, поскольку в текущем мгновении ты жив и вспоминаешь прекрасное прошлое... Настоящее гораздо хуже, потому что, чем кончится оно, неизвестно, а хуже всего будущее, потому что, чем оно кончается, известно точно: как говорит писатель (ему виднее) и врач (ему еще виднее) Юлий Крелин: летальный исход стопроцентен. Это грустно. Прошлое же внушает надежду, потому что оно не кончается, а вполне плавно переходит в окружающую действительность и длится, длится, длится.

Собственно, прошлое и есть жизнь, а жизнь есть прошлое, и пусть мне покажут того, кто сумеет это оспорить. В момент написания этой фразы она стала моим (а в момент прочтения – и вашим) прошлым, и так всё – вдох, выдох, взгляд, движение, мысль. Собственно, прошлое отличает живое от неживого: у камня нет прошедшего времени. Хотя... Как мне известно благодаря непригодившемуся (нет, все же пригодившемуся!) естественно-научному образованию, в материалах накапливается усталость. Это их воспоминания.

Любовь к жизни есть любовь к прошлому.

И вся скапливающаяся в течение жизни ненависть есть тоже воспоминания. Не в смысле даже счета обид (злопамятство – вещь дурная и бесплодная), а в смысле уроков, которые мы, конечно, не извлекаем, но тщимся ведь извлечь, всё прикидываем, как бы оно уберечься от уже совершенного, но, понятное дело, не уберегаемся, ложится новый слой воспоминаний, и так всё время. Мы либо просто любим прошлое, либо любим ненависть к прошлому, потому что она уже тоже прошла, и прошли мучения от нее, а воспоминания о прошедших и кончившихся мучениях – что может быть лучше?

Между тем и сейчас, дописывая фразу, я зацепился за что-то боковым зрением или на мгновение рассеявшимся вниманием – и пошло: жаркий южный город, трамвай, идущий от вокзала на приморскую окраину, странный трамвай, единственный такой в стране, открытый, с деревянными перильцами на деревянных же балясинах вместо стен, я схожу с поезда, пересекаю пыльную площадь с чешским кожаным красноватым – о, роскошным! – чемоданом в руке, в китайских светлых полотняных брюках, в голубой рубашке на двух пуговичках, сажусь в этот удивительный трамвай... Почему я это вспомнил сейчас – девятнадцать лет, Одесса, будущее счастье и несчастье? Кто знает. Прошлое подбрасывает себя, не спрашивая разрешения.

Вот, собственно, и все объяснения наших вкусов, взглядов, предпочтений, убеждений, конфликтов – воспоминания. Как было бы просто без них!

Увы, не получается.

Очень грустно, что из поля зрения исчезли тихие трагедии.

Медленно тлеющий алкоголизм, тихое допивание до второго или пятого инсульта... Вялотекущее расставание, развод, пять лет вместе (с теми же драками), но уже неофициально, наконец разъезд и немедленная повторная женитьба. Я знал человека, женатого на своей второй жене трижды, а была еще и третья... Слаботочная ревность, растянутый на десятилетия адюльтер, измены любовников с третьими лицами, огонь страсти, в который подливали масла пол-Москвы... Мелководное честолюбие, получение за три года до пенсии вожделенной должности зама и инфаркты у потерявших в связи с этим надежду... Многолетнее перемещение с первого (последнего) этажа кооператива на третий (пятый) с ожиданием (желанием) смерти впереди стоящего в очереди...

Задавленные страсти, погашенные желания, сумрак душевных тайников. В Москву, в Москву – за пропиской, апельсинами, карьерой, вареной колбасой. Мы отдохнем – и лучше всего в Доме творчества, и, вернувшись, в Нижнем Тагиле будем рассказывать о «Васе и Алле, которые каждый день на пляже от меня вот так...». Дом с мезонином, дама с собачкой, мещане, враги, дядя Ваня, тетя Муся и племянник Эдуард – где вы все?

Кончился драмтеатр им. Чехова, кругом опера им. Мефистофеля – дым, стрельба, картонные пальмы, полчаса умирающий в верхнем регистре тенор и стр-р-расти.

Переход к латиноамериканскому образу жизни – смена жанра.

Когда я родился, война катилась к Сталинградскому сражению. Сталин умер, когда мне было уже девять с половиной лет, так что моя попытка попасть на его похороны, отправившись в соседнее с нашим военным городком село, – я ее еще опишу подробно – свидетельствует о замедленном умственном развитии. Я всё прекрасно помню. Впрочем, отдельные картинки я помню со времени гораздо более раннего: например, хорошо помню комнату в офицерском бараке в Орше, в которой мы жили сразу после войны, пока отца не послали в Москву на переподготовку (об этом тоже напишу особо).

Итак, я помню (да простит мне тень гения этот плагиат):

запуск первого спутника, как я мчался, приподнимаясь от усилий над седлом велосипеда, навстречу родителям, возвращавшимся с рынка, и орал «запустили! запустили!» и как усмехнулся отец – вот уж для кого это была не новость;

полет Гагарина тоже – мы с другом как раз прогуливали лекцию по истории КПСС, прогуливали не просто так, а чтобы не нажить себе лишних неприятностей, потому что этот доцент нас вычислил точно, и каждая лишняя встреча с ним могла кончиться плохо, а на экзамене как-нибудь обойдется... ну да что сейчас думать, когда до сессии еще почти два месяца... и тут заработали все динамики-громкоговорители на столбах, «колокольчики», крашенные серебрянкой, совершенно незаметные в обычное время;

Хрущева сняли – так и сказала соседка, но я уже знал об этом, не помню откуда, и в ответ только поздоровался с нею, возвращаясь домой довольно рано утром после весьма бурной ночи, начавшейся в молодежном кафе, где собиралась джазовая общественность нашего города, и закончившейся на каком-то пыльном пустыре Чечелевки, не лучшего района... впрочем, об этом уже всё написал в повести «Кафе “Юность”»;

Солженицына выдворили, я шел на работу обычным маршрутом, с Богдана Хмельницкого на Герцена, и на Дзержинке примелькавшийся топтун у «председательского» (андроповского) входа вдруг – честное слово! – подмигнул мне и внятно сказал: «Нашего-то выпихнули...» Нашего!..

Амина убили, Брежнев умер, Черненко под руки несут, Горбачев говорит, метро сразу до двугривенного дорожает, водки нет, перед Моссоветом митинг за Ельцина, по телевизору балет...

Я всё это помню. Помню, как в семидесятые в очередном идейном споре отец сказал: «На твое поколение не досталось войны – ну и хорошо, и радуйтесь, но судить вы можете

не обо всем». Теперь уже навалом досталось войн, но опять, правда, не моему поколению в основном – мы успели выйти в тираж. Пожалуй, мы и те, кто сразу за нами с разницей лет до десяти, действительно единственные в этом веке, кого не убивали организованно. Тем не менее сделать с собой ничего не можем, мысли разъезжаются, и судить беремся именно обо всем. Извиняющий нас при этом резон: мы не во многом участвовали, даже почти ни в чем – большая часть поколения, но многое видели. Мы прожили такое время, когда можно было наблюдать, не ввязываясь.

Нам повезло. Мы посетили сей мир в его минуты весьма роковые, но как-то так вышло, что именно посетили, как бы не коренные этого мира жители, а туристы. Мы осмотрели достопримечательности, присутствовали при некоторых событиях – но всё это как бы из окна автобуса. Такое поколение – родившиеся в конце войны или сразу после нее, прожившие большую часть взрослой жизни в застое, то есть в покое.

Но вот автобус уже потихоньку сворачивает с маршрута, экскурсия идет к концу. В любом случае – было интересно. «Дорогие москвичи и гости столицы! Мы посетим торговый центр “Москва”, смотровую площадку на Лен... то есть Воробьевых горах и в заключение Ваганьковское кладбище...»

Собственно, с этого надо было начинать.

Да, отдельные картинки, чуть расплывчатые по краям, остались примерно с трех лет. Но, не буду врать, именно эту не помню – много раз рассказывала мать, впечатление, что какие-то тени маячат и во мне самом, хотя, наверное, обманываюсь.

Довоевавший до Кенигсберга отец мой, командир железнодорожной роты, был отправлен в Маньчжурию, а когда и там закончилось, переведен на послевоенную службу в Оршу, в Белоруссию, откуда уж – в Москву, в Академию имени Дзержинского, для переквалификации из военных железнодорожников в ракетчики... Но это было потом. А пока мы – мать, бабушка и я – должны были из Новосибирска, где семья была в эвакуации, ехать в эту самую Оршу воссоединяться с главой.

До новосибирского вокзала (с тех пор в городе, где родился, я не бывал) шли пешком. В белой кроличьей шубе из американских посылок, в белых же валенках-чесанках с базара, с бязевым мешком, в котором нес собственный горшок (очень ответственно, не выпуская его ни на минуту из рук), я проделал этот путь метров в восемьсот частично собственными, еще кривыми от голодного рахита ногами, частично на руках старшего двоюродного брата, провожавшего первую возвращавшуюся из эвакуации часть семьи. Заканчивался сорок шестой год...

Почему-то я очень ясно всё это вижу: деревянный сибирский тротуар, семейную процессию с тюками и фибровыми чемоданами в полосатых холщовых чехлах, к которым бельевой веревкой привязаны подушки и одеяла, моего брата, юного итальянистого красавца, и себя, судя по фотографии, удивительно похожего на канонический детский портрет Ленина, со светлыми кудрями и недетски серьезным взглядом... Раньше, когда малышом возили в метро по утрам в ясли и садики, часто встречался с такими взглядами: едет эдакое нечто, еще не разговаривающее, на руках, смотрит назад через плечо матери или отца – а глаза взрослые, серьезные... Куда теперь делись эти утренние дети? Не рожают их или в метро не возят? Бог знает.

Так мы добрались до вокзала, где шипели, выпуская неожиданно холодный пар, локомотивы; где жутко пахло сероводородом от сгоревшего в котлах угля; где тяжело пробегал железнодорожный милиционер с малиновым шнуром вокруг стоячего воротника, в черной шапке-кубанке с малиновым же крестом на суконном верхе, придерживавший колотившую на бегу по сапогам шашку; где шла удивительная, никогда не виданная трехлетним человеком жизнь.

И, тяжело вздохнув, присев на тюк, я сказал: «Далеко эта Орша!»

С тех пор просвистела жизнь. Я шел, тащил пожитки (куда тяжелее того эмалированного сокровища), меня уже никто не нес на руках, ноги бывали сбиты в кровь (те высоковатые чесанки резали под коленями, но терпимо), и светлые кудри растворились в небе, опять, черт возьми, сближая с вождем – уже лысиной... Снова и снова я, очумевший от усталости, принимал новосибирский вокзал за Оршу, промежуточный финиш за окончательный, просто конец за полный. Потом продолжалась бесконечная дорога, за окном мелькали столбы с фарфоровыми чашечками изоляторов и серыми разошедшимися брусками подкосов-подпорок, провода плавно провисали и вновь взлетали... И опять на пересадке или просто длинной стоянке я тяжело вздыхал, думая, что уже добрался – далеко эта Орша! – но это снова была не Орша, до которой еще шагать и шагать, ехать и ехать.

Не надо изменять жизнь к лучшему, вы не Philips.

Помните старую остроту: новая жизнь с понедельника уже к среде становится хуже старой? Ужас в том, что, как и любая хорошая шутка, эта содержит не долю правды, а только правду, причем почти всю. История человеческих заблуждений знает романтические высоты – вечный двигатель, эликсир молодости, средство от облысения и дружбу между мужчиной и женщиной. Стремление улучшить жизнь, причем всю и немедленно, не входит в этот перечень по той причине, что этому заболеванию подвержены все, а что свойственно каждому, то не отклонение, а норма. Любой из нас – вирусоноситель, но в ослабленном организме и при неблагоприятных условиях зараза начинает развиваться.

Пример номер один, медицинский. Мой друг N бросил пить. В течение первой недели страдали только окружающие, которым он, изловив по дороге (многие спешили по важным делам), рассказывал, что совершенно не мучается, не испытывает никакой тяги выпить и желает человечеству того же. К концу второй недели, однако, картина осложнилась: идеалист продолжал делиться наблюдениями над организмом, но они приобрели грустную окраску. Почему-то опухли у него суставы, в чем каждый мог убедиться. Наладился сон, но пропал аппетит (в дальнейшем – наоборот). Через месяц врачи – у которых в течение предшествующей жизни N не бывал – махнули на пациента рукой, еще раз доказав, что медицина пока не наука, а искусство. На сорок седьмой день N развязал рывком, в результате чего споткнулся на лестнице и едва не вывихнул запястье. Опухли суставов прошли только через полгода, общественная активность восстановилась не полностью и по сей день.

Пример номер два, исторический. Великая Октябрьская социалистическая революция произошла 25 октября (7 ноября) 1917 года. Я пишу эти строки 4 января (22 декабря) 1996 (5) года. Необходимости развивать мысль не вижу.

Пример номер три, психологический. Один человек любил и был любим. Ну и, спрашивается, какого ему еще было надо? Нет, он решил всё наладить. Он разошелся с одной, обидел другую, порвал с друзьями и уехал в город Новодомнинск на постоянное место жительства, чтобы найти там полное и окончательное счастье в абсолютном единении с возлюбленной. Она-то уже вернулась, только плачет часто, он же подумывает о фиктивном браке с целью получения новодомнинской прописки.

Итак, не будем желать друг другу никакого нового счастья. Счастье может быть только продолжением старого.

Вздрагивая от готовности, как зубрила, мы тянем руку и просительно заглядываем жизни в глаза.

Как хочется, чтобы нас поощрили за отличные знания и примерное поведение. Чтобы вызвали, внимательно выслушали, убедились, что мы всё выучили и поняли, как велено в

хрестоматии. Чтобы потом долго хвалили, вписали пятерку в журнал и дневник и поставили в пример лентяям.

Мы жаждем, чтобы наш праведный труд был вознагражден палатами каменными, чтоб добрая слава бежала, а дурная лежала, чтобы умным везло, трезвых Бог берег, а простота считалась гораздо лучше воровства. Мы хотим справедливости вопреки вековой народной мудрости.

О, как обидно! Пашешь, как карла, притом и от природы неглуп, и плохого ничего никому не сделал, а денег нету, в семье беспорядок, и сосед, закончивший евроремонт в своей квартире, бросает бычки перед твоей дверью. В профессиональной сфере известен только знакомым, да и те, кажется, посмеиваются за спиной. Опять денег нету. Ты к ней весь с душою и потрохами, ни на кого даже не смотришь, ну, тот один раз не считается, и она не знает, но тем не менее как-то недостаточно радостно выглядит и на шею бросается не издали. Ну и денег нету, конечно.

За что? Неужели правильно было написано не в «Родной речи» насчет «как птица для полета», а на предплечье у одного мужика? Неужели действительно нет в жизни счастья?

Грустно.

Конечно, это еще не повод верить тому мордатому, обещающему это счастье немедленно наладить, как только новых буржуев погоним. Конечно, все хороши, и верить тем, кто сулит немедленную справедливость, нет никаких оснований. Еще можно напрячься и вспомнить, что при полностью развитой справедливости тоже не везло и добродетели не вознаграждались.

Но справедливости хочется. Хочется, чтобы хорошие люди объединились, вор сидел в тюрьме, любовь побеждала смерть, добро торжествовало и в финале выходило кланяться. Хочется, чтобы вас ценили по достоинству и любили не в зависимости от своевольной души любящего, а в соответствии с вашими заслугами.

Не будет этого. Не хотелось бы вас огорчать – но не будет этого на земле. Я даже не уверен, что есть покой и воля.

А есть только такая жизнь, какая есть.

За это ей спасибо.

Во всяком личном деле последняя запись так и называется – действующая. С такого-то по наст. время.

Настоящим временем, следовательно, считается текущий момент. А всё остальное – прошлое совершённое и несовершённое и любое будущее – считается временем ненастоящим. И то правда: ведь времена эти существуют только в нас, в воспоминаниях и надеждах, в любви и страхе, а вне нас существует только самое настоящее, неподдельное время – сейчас.

И вот оно-то, кажется, истекает и уже почти истекло. Целый год я понемногу писал это... допустим, введение в мемуары. А теперь сообразил, что, подобно многим введениям, оно может остаться без основной части и тем более без эпилога. Было такое в давно забытом моем естественно-научном образовании: изучение многих дисциплин ограничивалось введением, причем этого хватало на семестр, а то и два, а само «Введение» представляло собой том толщиной и весом в кирпич.

Но во всяком уважающем себя и читателей введении должны быть сформулированы основные законы предлагаемой теории, иначе зачем оно? Между тем я успел сформулировать только один, напомним его, – первый закон К.: никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже; но никогда не бывает настолько плохо, чтобы не было лучше, чем могло быть. Пример: вы ввинчиваете штопор в пробку, пробка крошится, и оставшуюся половину приходится проталкивать в бутылку карандашом. Но ведь мог сломаться и штопор... Допустим, так и произошло. Но ведь он мог остаться не в пробке, а в вашей ладони... И так далее.

Предлагаемая методология изучения, описания и осмысления настоящего времени (в определенном выше смысле) позволяет сформулировать еще два закона К. Вместе с первым они займут достойное место между тремя законами механики и тремя источниками и составными частями марксизма. Итак.

Второй закон К.: жизнь гораздо лучше, чем мы все заслуживаем; но гораздо хуже, чем заслуживает каждый из нас в отдельности. Пример: один человек не в состоянии начать и вести войну, для этого ему необходим хотя бы еще один; но если сложить желания всех людей и если бы они осуществились, третья мировая атомная уже давно бы закончилась победой вирусов.

Третий закон К.: жизнь и ее законы не могут быть описаны словами; но другого способа описания не существует. Пример: третий закон К. представляет собой лучшее доказательство собственной справедливости.

...Впрочем, всё это вздор. За окном идет мокрый снег, переходящий в грибной дождь, сияет жаркое рассветное солнце на фоне сиреневого заката, легкая весенняя пыль ложится на желтые листья, ранние пятидесятые заканчиваются поздними восьмидесятыми – длится настоящее время, самое настоящее из всех времен, время «сейчас». В котором плывет пятилетний пацаненок, подростково грустный, юношески наглый, усталый и солидный по шестому десятку, с рваным школьным портфелем, в котором последняя рукопись, – успеть бы... Но уходит время, превращается в настоящее, а расставаться так не хочется, и цепляемся за него, вспоминаем и вспоминаем.

Не надо. Долгие проводы – лишние слезы. Наступает, уже почти наступило другое «сейчас». И в нем тоже захочется задержаться.

Счастливо.

Да, очень хочется, чтобы все было хорошо.

Но не получается.

Самые удобные, необходимые, привычные вещи ломаются или рвутся. Только привык – раз – и нету. Черт его знает, что такое. Вот и сейчас: пост, а черта помянул. И ведь не хотел, а вырвалось как-то...

Успокойтесь, ребята, – всё хорошо никогда не будет, и с этим надо жить. Надо пытеть, мучиться, стараться, делать для самого себя вид, что усилия обязательно увенчаются успехом, изумляться неудачам, считать себя обделенным, проклинать горькую и несправедливую свою судьбу, призывать Божьи кары на головы недоброжелателей и врагов, кощунственно подумывать о собственноручном прекращении своих мучений...

Надо страдать.

Потом, отстрадавши до полной пустоты и легкости, с опухшей от бессонницы и бесслезных рыданий рожей надо – а куда деваться-то? – выйти на улицу.

Там, на улице, надо обнаружить грязные останки зимы, прозрачное до самых высших сфер небо и желтые катышки мимозы, осыпавшиеся на рукав твоего плаща, которым нечаянно кого-то задел.

Там надо встать в глубочайшую лужу у края тротуара – и поделом, потому что транспортный поток пешеходу следует пережить, не сходя на мостовую.

На улице необходимо почувствовать сквозняк, летящий за огромным джипом величистой с грузовик, за темными стеклами которого вырисовываются хорошо обтянутые гладкой кожей молодые лица, холодные и совершенно лишенные мысли, как у античных статуй.

На улице надо обнаружить много нового – беременных, они всегда после зимы в жутком количестве; антинациональные – прежде всего по форме, но и по содержанию тоже – вывески, которых сильно прибавилось; милиционеров в ватных серых костюмах с облезлыми автоматами; лезущих в душу продавцов голландских роз...

Надо жить.

Всё хорошо никогда не будет. Что же теперь – календарь отменить?

Этого дома уже нет – он горел несколько раз и наконец был снесен, исчез вместе со своим залитым водой подвалом, с черным ходом в бывший двор, давно разгороженный и изрытый какими-то подземными гаражами или убежищами; с крутыми до самого пятого этажа лестницами и дверями квартир в клокастой дерматиновой обивке; с квартирой, первой квартирой, которую я совсем хорошо помню...

Дядя возвращался, держа в одной руке свой профессорский портфель с ремнями и дарственной надписью на металлическом ромбике, а в другой на отлете – мороженный торт в прогнувшейся картонной коробке, перевязанной бумажным шпагатом.

Мы там жили: дядя Миша, тетя Мирра, двоюродная моя сестра Инка, бабушка Рая, мой папа, проходивший, как уже было сказано, переподготовку в Академии имени Дзержинского, моя мама и я. В четвертой комнате жил сосед, большей частью она была заперта. На чердаке, куда с нашей последней площадки вела стертая железная лестница, жила баба – пьяница и бродяга. Она уже тогда могла бы поджечь этот дом, как сделали впоследствии, через сорок пять лет, ее коллеги бомжи, но однажды пришли милиционеры в синих толстых шинелях с большими косыми кобурами наганов на ремнях и бабу забрали.

Ночью дядя писал учебник по отоплению и вентиляции, сидя в кожаном кресле. Это кресло отец привез среди немногих своих трофеев с фронта, каким образом и зачем – не представляю. Оно было тяжелое, дубовое, обитое по краям сиденья и круглой спинки гвоздиками с узорчатыми медными шляпками. Некоторые из этих гвоздиков легко вынимались пальцами, но потом я вставлял их на место. Днем, когда в дядин кабинет можно было заходить, я сидел в этом кресле лицом к круглой спинке и рулил. А ночью я лежал с мамой на матрасе между пианино и большим столом и видел из-под двери свет: дядя писал про отопление и вентиляцию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.